

В.С. Рутминский

ЗАЧЕМ МОЕМУ РЕБЕНКУ ТАКАЯ СУДЬБИНА?

Издавна было резонно замечено: на детях гениальных людей природа отдыхает, как бы исчерпав себя. К счастью, это не всегда так.

Сейчас весь мир вспоминает нашего великого поэта Марину Цветаеву в связи с ее столетием. Слава Богу, ведь при жизни ее не слишком баловали ни вниманием, ни добрыми словами.

Различные издания сплошным потоком публикуют статьи о Марине Ивановне. «А все-таки жаль», что в ее большой тени почти исчезает образ ее дочери, Ариадны Эфрон. Вспомнить Ариадну Сергеевну следовало хотя бы потому, что без ее самоотверженности и целеустремленности в 60-е и 70-е не было бы никаких публикаций Цветаевой. Дочь посвятила памяти матери значительную часть своей нелегкой жизни.

Но, конечно, высветлить ее облик следует не только поэтому.

На ней Природа не отдыхала. С детских лет она одарила ее более чем достаточно. А вот История на ней вытоптала. Хотя и Марину Ивановну судьба преследовала с диким ожесточением, но круги Алиного ада были много страшнее. Подробно все ее «университеты» описаны М.И. Белкиной в прекрасной книге «Скрещение судеб».

Какая она была? Сейчас ее фотографии разных периодов жизни можно увидеть во многих книгах о Марине Цветаевой. Вот какой ее увидела М.И. Белкина в конце 50-х годов. «Она совсем не была похожа на Марину Ивановну, она была гораздо выше ее, крупнее. У нее была горделивая осанка, голову она держала чуть откинутой назад, вольно подобранные волосы, когда-то, видно, пепельные, теперь наполовину седые, были схвачены на затылке мягким пучком и спадали волной на одну бровь. Брови, красивые, четко очерченные, разбегались к вискам, как два тонких, приподнятых крыла. И глаза... “венцианским ее глазам”!» (Вышедшая в 1922 г. пьеса Марины Ивановны «Конец Каза-новы» имела посвящение «Моей дочери Ариадне — венецианским ее глазам» — В.Р.).

К пожилым годам, наглядевшись вдоволь на «белое безмолвие», эти глаза несколько поблекли. Они были такими же огромными, как у ее отца Сергея Эфрона, но тот был кареглазым, а дочь — голу-боглазой.

Откуда «венцианские»? Не реминисценция ли из Мандельштама:

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала...
Воздух твой граненый... В спальнях тают горы
Голубого, дряхлого стекла.

Это были еще и глаза художника. Гены ее деда, Ивана Владимировича Цветаева, крупнейшего знатока изобразительного искусства, миновав дочь Марину (в ее стихах живописи нет почти совсем, все держится на напоре музыкальной стихии), передались внучке.

Ариадна Сергеевна хорошо рисовала, в Париже ей довелось учиться у Натальи Гончаровой, в студии Шухаева, в Ecole de Louvre. Это дарование спасало ее и в тяжелые годы: какое-то время в лагере она зарисовывала ложки и недолго пробыла на лесоповале, да и в ссылке выполняла художественные работы. Рисование преподавала и в Рязани в короткий период между двумя заточениями.

Но вот кем она была воистину Божией милостью — это поэтом-переводчиком! Занимаясь этим делом много лет, пишущий эти строки берется утверждать, что из всех литературных профессий поэтический перевод — это труд самый тяжелый, квалифицированный и... неблагодарный. В.Я. Брюсов в своей статье «Фиалки в тигеле» говорил, что перевести поэтическое произведение с одного языка на другой невозможно в принципе. Пожалуй, это так и есть. Но Брюсов добавляет: «Каждый раз это исключение».

Исключение получается, когда переводчик вкачает в свою работу достаточно собственной крови. Как несколько самоуверенно писал Л.Н. Мартынов, «в чужую скорбь свое негодование, в чужое тленье — своего огня».

Она переводила Готье, Верлена, Арагона. Но наибольшей удачей ее был Шарль Бодлер. Этот поэт плохо давался русским переводчикам, больно уж его манера противоречила как их жизненному, так и поэтическому опыту. И Якубович-Мельшин, и Мережковский достаточно неудачно пытались передать его по-русски. Да что там Мельшин, когда и у блистательного Бенедикта Лившица Бодлер звучит несколько жестковато, с таким затрудненным дыханием. Наверно, чтобы перевести “De profundis clamavi” («Из бездны зываю»), надо было самой оказаться в этой самой бездне.

Вокруг меня — тоски свинцовые края.
Безжизненна земля и небеса беззвездны.

Шесть месяцев в году здесь стынет солнца свет,
А шесть — крошечный мрак и ночи окаянство...
Как нож, обнажены полярные пространства:
Хотя бы тень куста! Хотя бы волчий след!

Кто-то заметил, что жемчужина рождается из боли. Вот для сравнения перевод последнего приведенного катрена, выполненный Александрой Андреевной Кублицкой-Пиоттух, матерью Блока, женщиной тонкой и талантливой.

Полгода там царит холодное светило,
Полгода кроет ночь безмолвные поля;
Бледней полярных стран, бесплодная земля
Ни зелени, ни птиц, ни вод не породила.

Совершенно не то?

О переводах Ариадны Эфрон стоило бы говорить много, но, думаю, этого достаточно.

Удивительное природное поэтическое дарование было у дочери Цветаевой с детских лет. Но у нее

была еще и огромная щедрая душа, обрекая ее на «растворенье самого себя в других, как бы им в даренье» (Пастернак).

Цветаева отметила в дневнике, что дочь родилась в половине шестого утра под звон ранних московских колоколов. Марина Ивановна назвала девочку Ариадной — именем своей любимой мифологической героини, о которой позже напишет трагедию.

В четыре года необыкновенный ребенок уже выучился читать, в пять — писать, с шести лет Аля начала вести дневники.

Эренбург описывает свое посещение Цветаевой в голодной и холодной Москве 1918 года: «Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:

Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятия,
И ты без мысли глядишь...

Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой — Але — было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока».

Правда, сама Ариадна Сергеевна говорила, что Илья Григорьевич что-то путает: не могла она в пять лет читать Блока. Но если даже что-то смещено во времени, характерно само восприятие этой девочки окружающими.

Вот свидетельство другого близкого друга Марины Ивановны — Константина Дмитриевича Бальмонта: «Марина живет одна со своей семилетней девочкой Алей, которая видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девических писем, какие я получал когда-либо в жизни, и пишет стихи, совершенно изумительные. Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отмечено среди лучших японских троестрочий:

Корни сплелись,
Ветви сплелись.
Лес любви».

Впрочем, девочка росла в атмосфере такой духовной высоты, в которой невольно воспаряла ввысь и сама. Мать разговаривала с ней, как со взрослой. Вот отрывок из дневника Али:

«Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок такой же великий поэт, как Пушкин. У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, были сжатые губы, как когда обиделась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг».

Маленькая Аля тогда передала Блоку от матери неистовые, бурнопламенные стихи. Но знакомство между поэтами так и не состоялось. Цветаева и не хотела этого.

Запись в дневнике семилетней девочки удивительна. Отчасти она, конечно, ребяческая, что чувствуется в милом неологизме «беззапахный». И в то

же время такая тонкость, как ощущение разницы между «радостью» и «восторгом».

А вот в письме Е.О. Волошиной: «Мы с Мариной читаем мифологию... А Орфей похож на Блока: жалобный, камни трогающий». Очень интересная смесь детского сознания с глубинным, совершенно взрослым. «Жалобный, камни трогающий» — значит, способный все разжалобить, даже камни. И такая детская инверсия: не Блок похож на Орфея, а... Орфей на Блока.

Быт в их «чердачном дворце», так живописно показанный Эренбургом, Аля метко называла «кораблекрушительным беспорядком». А Цветаева писала так:

Вот дети мои — два чердачных царька,
С веселою музой моею, — пока
Вам призрачный ужин согрею,
Покажут мою эмпирею.

Детей было тогда двое. Еще жива была двухлетняя Ирина, вскоре умершая в приюте в Кунцеве. Там же была и Аля, и тоже чуть не умерла, но ее мать успела вырвать из когтей смерти.

В сборнике «Психея» (зарубежном) М. Цветаевой есть раздел «Стихи моей дочери». Там были такие строки:

Не стыдись, страна Россия!
Ангелы — всегда босые.
Сапоги сам черт унес.
Нынче страшен — кто не бос.

Как будто с этими детскими стихами Али перекликался в недавние дни Александр Галич: «Ах, Россия, Россия, все пророки босые...».

Виктория Швейцер в книге «Быт и бытие Марины Цветаевой» пишет: «Аля изливала на мать огромную энергию, поддерживающую ее, помогающую жить».

Поразительно ее понимание огромной, мятущейся души матери. Вот о Вишняке (адресате «Флорентийских песен», берлинском увлечении Цветаевой): «Когда Марина заходит в его контору, она — как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя». Это-то Ариадна Сергеевна хорошо понимала, что мать ее всех тащила на такие высоты, где невозможно долго выдержать. И на своем детском опыте — тоже. Жизнь матери всегда была главной частью ее собственной души.

И труженицей Ариадна Сергеевна была с самого начала своей нелегкой жизни. Безоблачного детства у нее не было никогда. А руки у нее были золотые. Это помогало ей коротать время даже во внутренней тюрьме на Лубянке, где она умудрялась вязать... на двух спичках и даже делать что-то вроде тортов (в камере!).

В Париже она была буквально спасительницей семьи. Марина Ивановна писала чешской подруге Анне Тесковой: «Она ничего не успевает: уборка, лавка, угли, ведра, еда...». Еще и вязала шапочки на продажу, сильно пополняя вечный дефицит семейного бюджета.

Мать предсказывала: «Годам к двадцати озлобится люто...». Не озлобилась, хотя и бывали време-

на, о которых мы узнаем из недавних писем Марины Ивановны к жене И.А. Бунина, В.Н. Муромцевой. В тридцатые годы отношения между матерью и дочерью не были безоблачными. Молодой девушке нелегко было быть вечным вьючным тяглом. И к тому же она со всем пылом рвалась в Россию себе на погребель, а Марина Ивановна этого не понимала или, точнее, слишком хорошо понимала, что может случиться.

Ариадна Сергеевна уехала на родину 15 марта 1937 года. Она не сомневалась, что едет «навстречу счастью». Сперва все складывалось хорошо: поселилась у сестры отца Е.Я. Эфрон, стала рисовать и переводить для московского журнала на французском языке «Revue de Moscou».

Потом появился в Москве отец, приехала и мать. Они стали жить в Болшеве под Москвой. Аля встретила человека, которого полюбила, готова была принять и оправдать все происходящее. Марина Ивановна иронизировала по поводу ее стремления видеть все в розовом свете. Она записывает в дневнике: «Энигматическая Аля, ее накладное веселье».

Арест 27 августа 1939 года был для девушки неожиданным ударом: ее взяли первой, по-видимому, для устрашения отца, для давления на него. Вскоре был арестован и он. Сергей Яковлевич погиб,

а Ариадна Сергеевна отбыла восемь лет в мордовских лагерях от звонка до звонка. Недолго пожила на воле в Рязани, затем снова арест и ссылка в Туруханск. Вернулась в Москву только после смерти Отца Народов и сразу занялась архивом матери.

Переводила и для души, и для заработка, например, с русского на французский для Большой Советской Энциклопедии.

Когда-то Москву с Воробьевых гор завещала ей мать:

Будет твой черед:
Тоже — дочери
Передашь Москву
С нежной горечью.

Не было у Ариадны Эфрон дочери. Нечеловеческая, искалеченная жизнь была у этой талантливой, прекрасной, доброй и умной женщины. Умерла она в цветаевской Тарусе шестидесяти двух лет от роду в 1975 году, многое успев сделать для спасения наследия матери.

Ариадна Эфрон не была знаменита. Но она была из тех редких людей, которые, невзирая на любые препятствия, создают духовную и нравственную атмосферу времени.

1992

Адам Асмык (1838 - 1897)

Пустые сожаленья

Нет места в мире, человек,
Напрасной укоризне:
Отжитых форм никто вовек
Не воскресит для жизни.
Мир не пойдёт для вас назад.
Чтоб прав вернуть былого;
Ни меч, ни взрыв не истребят
Живую мысль и слово.
С живыми надо мчать под свист,
Лететь за новым пылко,
А неувядших лавров лист
Пристраивать к затылку.
Печали ваши никогда
Не станут вам подмогой.
А жизнь сквозь дали и года
Пойдёт своей дорогой.

Счастливая молодость

Счастливая молодость! Скорбный хорал
Блаженством меня наполняет.
Миг счастья огромен, а горя — так мал,
И слёзы всегда облегчают.
Счастливая молодость!
Болью своей Напев соловьиный пронзают...
И, радуясь эху своих же скорбей,
О собственном счастье не знает.

Разум

Глубокий разум мудрых
в простанство мечет искры:
Как отблески бриллианта,
они ярки и быстры.
Пропав в лучах рассвета,
они зарёю стали.
Из них, разнообразных,
гармонию создали.
А жалкий ум педанта что
камни мостовых,
И радугой не брызнуть
ни одному из них.
И в гордости он счастлив,
что все — единой меры
И все — однообразны, безжизненны
и серы.

Жабы

Жабы, как всем известно, любят сидеть в болоте,
Выскочит на минуту — прыг! — и уже не найдёте.
Значит, хоть вынуждает что-то их лезть наружу,
Но на ночлег обратно все попадают в лужу.
А возвратясь с прогулки, каждая скажет прямо:
Дескать, куда не глянешь, всюду сырая яма...
И среди людей такие могут найтись пророки:
Им целый мир — трясина, всюду видны пороки...
А я, как только услышу поток этих жалких жалоб,
Всё думаю: этаких судей самих потрясти не мешало б!
И странно становится: что им весь свет обличать охота,
Как тем пресловутым жабам, что ищут везде болото.

(Перевод с польского Виктора Рутминского).